

ЮРИЙ БУЙДА

Покидая Аркадию
книга перемен

От
лауреата
премии
«Большая
книга!»



18+

Юрий Васильевич Буйда

Покидая Аркадию.

Книга перемен

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21178124

Буйда, Юрий Васильевич. Покидая Аркадию. Книга перемен : роман:

Издательство «Э»; Москва; 2016

ISBN 978-5-699-90768-7

Аннотация

Аркадия – идеальная страна счастья, рай на земле. Двадцать пять лет назад таким раем казалась дооктябрьская Россия, «которую мы потеряли», а сегодня многие считают, что идеальной страной был СССР, хотя советские люди были убеждены, что счастье возможно только в будущем, где нет ни «совка», ни «коммуняк», а только безграничная свобода и полные прилавки. Все требовали перемен, не задумываясь об их цене.

Эта книга – о тех, кто погиб в пожаре перемен, и о тех, кто сгорел дотла, хотя и остался в живых, и о тех, кто прошел через все испытания, изменившись, но не изменив себе. О провинциальной девчонке, которая благодаря стойкости стала великой актрисой, потеряв все, кроме таланта. О молодом дипломате, отказавшемся от блестящей карьеры ради любви. О нормальных подростках, превратившихся в безжалостных убийц. О прокуроре, взявшемся

за оружие, чтобы вернуться к привычной жизни. Эта книга – о поисках идеала, о единстве прошлого, настоящего и будущего, о нас сегодняшних, о счастливой Аркадии, которую мы всегда покидаем, никогда с нею не расставаясь.

Содержание

Нора Крамер

6

Конец ознакомительного фрагмента.

36

Юрий Буйда
Покидая Аркадию.
Книга перемен

© Буйда Ю., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Нора Крамер

Сначала она была Ленкой Ложкиной, потом стала Элли Тавлинской, затем Норой Крамер, и все эти три жизни она прожила беспощадно.

Она многое умела. Умела так приготовить куриную ногу, чтобы ее хватило на три дня. Пить спирт не закусывая. Прятать деньги в заднице. Готовить бейлис из сгущенки с водкой и растворимым кофе. Перелицовывать старую одежду, превращая ее в модные шмотки. Ходить на руках. Маскировать выбитый зуб жевательной резинкой. Терпеть голод и холод. Не плакать, когда хотелось плакать. Бегать на десятисантиметровых каблуках. Брить ноги спичкой. Варить суп из сникерса. Пользоваться кастетом. Потом она научилась танцевать стриптиз. Запоминать тридцать-сорок страниц текста с первого раза. Играть Эсхила, Шекспира и Чехова. Быть матерью, женой и любовницей. Отличать шамбертен от кортона. Говорить по-английски. Повелевать с твердостью и подчиняться с радостью.

Она всегда умела добиваться своего. Если б не умела, то так и осталась бы стриптизершей в «Фениксе», одной из тех провинциалок, которые скоро выходят в тираж и заканчивают свои дни в подземном переходе на Плешке, клянча у прохожих на пиво, или продавщицей на рынке, ужинающей дошираком под паленую водку, или возвращаются в свои го-

родки и деревни, чтобы выращивать свиней, мечтать о более или менее постоянном муже и рассказывать подружкам о Москве, где никогда не кончается горячая вода...

Она добилась всего, научилась всему, освоила искусство лицедейства, искусство немощи и даже самое трудное из искусств – великое искусство молчания...

В детстве ей не нравилось ее имя – Элеонора, но только потому, что оно уже однажды принадлежало великой женщине – Элеоноре Дузе, а делиться Ленка не любила. И в будущем своем величии никогда не сомневалась.

Высокая, тощая, безгрудая, зубастая, с извилистыми ногами и острыми коленками, она считала себя неотразимой. Глядя на костлявую Элеонору, соседи ехидно говорили, что ее мать переспала с велосипедом или пружинным матрацем. Сверстники смеялись над ней: «Какая ты Ложкина! Ты – Вилкина! У тебя всюду зубья! Вилка! Вилка!» Но при этом все признавали, что у Вилки выразительные глаза, яркие, мятежные, и красивый чувственный рот.

Ну и талант, конечно, – с тем, что у Ленки Ложкиной талант, никто и не спорил. У нее был сильный чистый голос, она хорошо рисовала, а когда на школьном вечере читала со сцены отрывки из поэмы Асадова «Галина», зал рыдал и бешено аплодировал, а она смотрела на этих людей с улыбкой, и в душе ее радость мешалась с холодом...

Она записывалась во все кружки, какие только были в школе и доме пионеров, – в кружок книголюбов, рисунка и

живописи, фотографии, танцевальный, авиамодельный, самбо, макраме, драматический, – лишь бы поменьше бывать дома.

Ее мать была продавщицей в продуктовом магазине. В городке высокомерную и вспыльчивую Зину Ложкину называли Бензиной. Она пятнала тощую грудь мушками из тафты, носила мини-юбки, яркие клипсы и умопомрачительные прически – высокие башни со свисающими на уши локонами, украшенные гребнями, заколками, цепочками и бантиками.

В выдвижном ящике под прилавком она держала тетрадь в черной обложке, в которую записывала должников. Это было запрещено под страхом уголовного наказания, но Бензина отпускала в долг и сахар, и консервы, и вино: навар того стоил. Ее главными жертвами были пьяницы, набиравшие водку «под запись». В конце месяца, когда жены алкашей приходили к Бензине, чтобы рассчитаться с долгами, выяснялось, что их мужья тридцать дней кряду пили водку ведрами и закусывали дорогой колбасой. «Опять приписала, сука! – кричала разгневанная женщина. – Вот пожалуюсь на тебя прокурору!» «Жалуйся! – кричала в ответ продавщица. – Больше ничего тебе в долг не дам! Ни спичечки!» До прокуратуры дело, конечно, не доходило: отбушевав, женщины расплачивались и снова брали в долг, а Бензина делала в черной тетради соответствующую запись.

Богатства, однако, эти доходы в семью Ложкиных не при-

носили. Мать спускала все деньги на блузки с блестками, коньяк, пирожные и туфли с невероятными каблуками. По вечерам играла на гитаре и пела хриплым голосом «Тихо над речкою ивы качаются», каждую ночь плакала пьяными слезами на груди очередного мужчины и всегда мечтала о Москве, где могли бы по достоинству оценить ее царские ножки: «Там жизнь – глагол, а тут – одни прилагательные...»

Но однажды в ее жзни появился нищий баянист Сушкин, толстяк с собачьими глазами, который писал стихи, посвященные прекрасной Бензине, и все изменилось. Теперь она пила только с ним, теперь по ночам она плакала только на его груди, теперь она почти не поминала Москву: она нашла свой глагол. По утрам Сушкин ходил по дому в трусах, брал квашеную капусту из тарелки руками и томно вздыхал, поглаживая Бензинину задницу. Когда у Сушкина случались приступы гипертонии, Бензина преданно ухаживала за ним.

И тогда же ее дочь вдруг поняла, что нашла свое призвание.

Однажды руководитель драмкружка Ксаверий Казимирович Зминский – в городке его называли Ксавье – оставил ее после занятий и попросил прочитать стихотворение «Вот бреду я вдоль большой дороги...». Элеонора прочла «с выражением», как читала со сцены «Галину». Ксавье выслушал, кивнул и стал рассказывать о Тютчеве, о юной Елене Денисьевой, которой поэт годился в отцы, об их любви, их болезненных отношениях, растянувшихся на четверть века, об их

детях, о ее смерти и его горе...

– Так он при живой жене ей детей делал? – спросила Ленка. – На глазах у всех?

– Да, – сказал Ксавье. – А теперь почти то же самое еще раз.

Она поняла, что тут какой-то подвох, и стала читать, внимательно наблюдая за выражением лица Ксавье, но оно оставалось невозмутимым. Тогда она после паузы прочла стихи в другой тональности, но и на этот раз учитель промолчал.

После этого Ленка, сбитая с толку, испуганная и униженная, пошла в библиотеку, набрала книг Тютчева и о Тютчеве, проглотила их за неделю, но на следующее занятие драмкружка не пошла. Она вдруг поняла, что не в силах прочесть это стихотворение так, чтобы это понравилось Ксавье. Она лежала в своей комнатке, слышала, как Сушкин внизу тихонько наигрывал на баяне что-то тягучее, степное, как мать мыла посуду после ужина, а в соседском дворе выл пес Таракан, думала об этом старике в мундире со звездой, который писал стихи, о его желчном характере, о его любовнице, перебирала в памяти стихи и не заметила, как уснула, а среди ночи вдруг проснулась, села на кровати – голова была ясной, руки почему-то дрожали – и вдруг увидела в окне соседского дома тусклый огонек, и словно вознеслась над этой жизнью, над городком, над спящими и умирающими, с радостью почувствовала себя живой и бессмертной, и услышала какой-то дребезжащий тихий звук – это сумасшедший ста-

рик Девушкин брел по ночному городу, толкая перед собой тележку со всяким мусором, который он целыми днями собирал на обочинах, и прочла стихотворение вслух, не слыша себя, но понимая, что – получилось, и понимая также, что самое трудное – не потерять этот тусклый свет, эту безмозглую подростковую радость и этот дребезжащий звук, далеко разносившийся в ночи...

Через неделю она дождалась, когда Ксавье останется один, отвернулась к окну, чтобы не видеть его лица, и стала читать, упиваясь этим светом, тлеющим где-то в глубине, и этим звуком, заунывным и дребезжащим, накатывающим и затихающим, накатывающим и затихающим...

– А ты, оказывается, не такая и дурочка, как я думал, – сказал Ксавье, когда она замолчала. – Теперь надо поработать с дыханием...

Никогда еще она не переживала таких чувств, как в тот вечер. Ей казалось, что она чудом избежала смертельной опасности, и была так счастлива, что не могла сдержать слез. И ей хотелось переживать это чувство снова и снова, невзирая на страх и унижение...

С того дня Ксавье стал заниматься с нею отдельно. Они читали пьесы вслух по ролям, обсуждали характеры и интонации, и после этого Ленке хотелось тотчас сыграть и Федру, и Джульетту, и леди Макбет, и Маргариту Готье, но более или менее убедительной выходили у нее роли помещицы Поповой из чеховского «Медведя» да Софьи из «Горя от

ума». К своему огромному удивлению, она обнаруживала в себе бездны упорства и терпения, когда по приказу Ксавье в тридцать какой-то раз декламировала «На холмах Грузии» или монолог Нины Заречной...

– Есть в тебе содержание, есть, – говорил Ксавье. – Из тебя может получиться актриса, если не остановишься... может быть, даже трагическая актриса...

По дороге в школу она бормотала себе под нос: «Тебе открылся мой мучительный позор, И слезы пеленой мне застилают взор...» или: «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни», и вдруг останавливалась, смотрела на людей, бежавших по своим делам, на серые деревья, стены домов, и прерывисто вздыхала от необыкновенного счастья, которое ее переполняло...

Ксаверия Зминского вдруг посадили по сто двадцать первой статье, за гомосексуализм, и Ленка осталась одна. На нее показывали пальцем, хихикали за спиной, к ним вдруг зачастили соседи – посмотреть на «подружку пидораса», а новый руководитель драмкружка сказал, что ничего путного из Ленки не выйдет, потому что она слишком долго думает...

На выпускной вечер Ленка не пошла, аттестат о среднем образовании получила в школьной канцелярии.

Она попыталась поступить в медучилище, но неудачно.

Вынесла за калитку все книги, которые покупала на обеденные деньги, устроилась продавщицей в магазин моска-

тельных товаров, осенью вышла замуж за соседского парня Мишу, только что вернувшегося из армии, добродушного силача и пьяницу, родила сына, у которого оказался кататонический синдром, ребенка сдали в психоневрологический интернат, и через три месяца он умер, по вечерам Ленка в компании мужа, матери и Сушкина смотрела «Рабыню Изауру», пила водку с лимонадом и плакала, Миша набирался до чертиков и начинал бить жену, в драку ввязывались Бензина и Сушкин, потом мирились, пили, плакали и хором пели «Невечернюю»...

Но однажды в субботу, после «Невечерней», Миша вдруг схватил нож, закричал: «Да провались оно все пропадом!» – и перерезал себе горло на глазах у жены, тещи и баяниста, забрызгав всех кровью. Спасти его не удалось.

Неделю Ленка не выходила из своей комнаты, неделю она не могла заснуть. Закрывала глаза и видела разваливающееся горло мужа с потеками крови, жалобное лицо Сушкина и мать, замершую с открытым ртом, в котором сверкал золотом нижний левый клык, – и вскакивала, вся дрожа, задыхаясь...

Утром в воскресенье открыла зачем-то сундук, вытащила случайно уцелевший томик Тютчева, села на стул и просидела у окна до вечера, так и не открыв книгу.

В понедельник взяла на работе расчет, купила билет на автобус до Москвы, выписала из справочника адреса всех столичных театральных училищ, кинула в чемоданчик смену

белья, нарисовала губы и отправилась на автовокзал. В ожидании автобуса позволила цыганке погадать на руке, отдала ей пятерку, заняла место и заснула, а проснулась уже в Москве, на Щелковском вокзале – только тогда и обнаружила, что цыганка украла у нее все деньги.

Что ж, хоть фамилия осталась – Тавлинская. Элеонора Тавлинская. Не то что Ложкина. Ради этой звучной фамилии, может быть, и вышла за Мишу, подумала она и стиснула зубы.

Ей было девятнадцать, когда она приехала в Москву, и у нее не было денег.

Пять копеек, завалившиеся в кошельке, уже не были деньгами – в марте 1991 года проезд в метро подорожал втрое.

Она была голодна, и ей хотелось пить. Бродила по автовокзалу, уворачиваясь от дюжих наперсточников, которые убегали от милиции со складными столиками в руках, валя прохожих с ног, высматривала бутылки с остатками пива, но их перехватывали злые старухи в беретах со значком «Гвардия» и в домашних тапках, привязанных к ногам бельевыми веревками, глазела на проституток, отдыхавших с водкой и сигаретами за заданием вокзала на поваленном заборе, куда все, мужчины и женщины, ходили мочиться, на парней в спортивных костюмах и кепках, выцеливавших недобрый взглядом кого-то в толпе, и, наконец, не выдержала – подошла к старику, продавцу газет, и спросила, не подскажет ли он, где тут можно переночевать.

– У меня, – сказал старик, смерив ее взглядом. – Но будешь стирать белье. И не смей смеяться над Лениным!

– А вы не будете смеяться над Элеонорой? – спросила она.

– Договорились, – сказал старик. – Через два часа освобожусь...

И спустя двадцать лет она вспоминала Владимира Ильича – так звали старика – с благодарной нежностью. Прием во все театральные училища закончился, она опоздала, и старик разрешил ей жить у него «сколько надо».

Тем вечером он накормил ее яичницей с колбасой, поделился чекушкой, постелил на диване, сам лег в кухне, а утром отвел в контору метрополитена, где требовались уборщицы.

По ночам Элли – теперь она называла себя только так – мыла полы на станции метро, утром отсыпалась, потом относил старику термос с чаем и бутерброды, иногда вставала за прилавок, пока он отдыхал на пачках газет в тени пыльных деревьев. Готовила еду, стирала белье, заклеивала на зиму окна. Хозяин не брал с нее денег за постой – на сэкономленные Элли удавалось ходить в театр или в кино.

Отец хозяина всю жизнь строил заводы и города – в степях, в тайге и пустынях, во время войны занимался эвакуацией предприятий на восток, после войны снова строил – на этот раз космодромы. Лауреат всех премий, Герой Труда, генерал. В московской квартире почти не бывал – вернулся сюда, когда вышел на пенсию. Пытался писать мемуары, но

после двух инфарктов и инсульта дело продвигалось плохо. До самого конца не мог понять, что же происходит в стране, что такое перестройка – революция, кризис или гульба. Склонялся к гульбе: «Умственное пьянство ничуть не лучше обычного. И нельзя, нельзя, чтобы все желания исполнялись, потому что первыми исполняются желания дурные». Год назад умер и был похоронен с воинскими почестями. Дети разменяли квартиру, а спившаяся дочь распродала награды отца.

Владимир Ильич рос в Казахстане и Сибири, воевал, окончил Бауманку, всю жизнь провел на ракетных полигонах, развелся, преподавал в университете, ушел на пенсию. Иногда его навещала старинная приятельница Клавдия Дмитриевна, которая рассказывала, как живут его бывшая жена и дети: сын стал предпринимателем, дочь вышла за военного.

Рассказывая о себе, Владимир Ильич никогда не упоминал ни географических названий, ни имен тех, с кем когда-то работал: сказывалась привычка к секретности, свойственная людям, которые прожили всю жизнь в другой, тайной стране.

Вечерами Владимир Ильич снимал со стены гитару – он был настоящим виртуозом, и Элли многому у него научилась. Иногда же они просто читали – хозяин перечитывал Лема, а Элли открывала Кафку – тогда на уличных книжных прилавках Кафки было не меньше, чем Чейза.

Клавдия Дмитриевна, моложавая дама с перманентом,

иногда оставалась на ночь, и по утрам они завтракали втроем. Она-то и предложила однажды познакомить Элли со старухой Сухановой, отставной актрисой, которая нуждалась в помощи по дому и за это готова была и платить, и давать уроки актерского мастерства. Похоже, Клавдия Дмитриевна видела в Элли соперницу и хотела избавиться от нее.

Старуха Суханова была крупной, одышливой, с пушистыми белыми бровями. Она играла роль суровой, строгой дамы, хотя на самом деле была больной и беспомощной. Целыми днями она дремала в кресле-качалке с кошкой на коленях, но к вечеру оживлялась. Она не признавала никакого приема пищи в кухне, никакого коньяка в бутылках – Элли подавала еду в столовую и ставила на стол графины с крепкими напитками. Аппетит у старухи был крестьянский – она много ела и пила, становилась веселой и говорливой.

После первой рюмки она рассказывала о великих театрах, о режиссерах и актерах, с которыми ей довелось когда-то работать, после второй – заставляла Элли читать вслух стихи или какой-нибудь монолог и объясняла, как на самом деле должна звучать сценическая речь, после третьей вспоминала многочисленных своих любовников – наркомов и маршалов, оперных певцов и спортсменов, цирковых фокусников и журналистов...

– А вот со Сталиным мы так и не стали по-настоящему близки, – говорила она. – Все ограничилось бездушным миметом...

Элли не знала, верить ли старухе, которая всю жизнь была замужем за одним мужчиной, известным в далекие времена театральным критиком. После четвертой рюмки Ольга Ивановна всегда плакала, глядя на портрет своего Клавочки, Клавдия Ивановича Дмитриевского. Выпив пятую, говорила, что обязана ему всем: Клавочка научил ее понимать Чехова, носить драгоценности и готовить томленую утку по-аквитански.

– Мне так хотелось сыграть леди Макбет, – говорила она, – но Клавочка сказал, что это не мое. Ма шер, говорил он мне, это пессимизм, скептицизм и нигилизм продаются на каждом углу, а трагизм надо выстрадать. А ты, говорил он, ты, ма шер, была счастлива и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве, а Брежнев так и вовсе осыпал тебя наградами. Ты была самой счастливой и самой беспечной дамой русского театра. И он прав... так я и не сыграла ни Федру, ни леди Макбет, ни даже Маргариту Готье... Он считал, что существуют лишь три пьесы, которых достаточно любому театру, чтобы быть театром, – это «Царь Эдип» Софокла, пьеса о человеке и Боге, это «Макбет», пьеса о человеке без Бога, и, наконец, «Дама с камелиями»...

Она с жадностью слушала рассказы Элли о жизни в маленьком городке, о занятиях с Ксавье, о замужестве, смерти ребенка и самоубийстве мужа, задавая при этом множество вопросов, выпытывая детали, расспрашивая о том, что та чувствовала и думала.

– Что значит – не помню? – возмущалась Ольга Ивановна. – Судьба подарила тебе столько переживаний, а ты не помнишь, что при этом чувствовала и думала? Так придумай! А лучше – вернись назад и попробуй разобраться в своих мыслях и чувствах. Все это тебе пригодится, если ты мечтаешь о карьере актрисы. Иногда достаточно вспомнить, как в детстве тебе хотелось отлупить дурочек, которые смеялись над твоими кривыми ногами, чтобы сыграть настоящую леди Макбет!..

Годы спустя Элли убедилась в правоте старухи Сухановой, хранившей в своей памяти все детали, все цвета и вкусы жизни.

В июне Ольге Ивановне исполнилось девяносто, и это событие с размахом отпраздновала вся театральная Москва. На торжественном обеде в ресторане старуха попросила своего бывшего ученика обратить внимание на ее «компаньонку», и в сентябре Элли приступила к занятиям в знаменитом театральном училище.

Она была благодарна Владимиру Ильичу за то, что приютил ее и научил играть на гитаре, она была благодарна этой крашеной сучке Клавдии, подозревавшей Элли в любовной связи со стариком, благодарна за то, что та познакомила ее с Ольгой Ивановной Сухановой, и старухе она была, конечно же, благодарна за сытую жизнь, за коньяк, за уроки актерского мастерства, за то, что научила ее память, ее ум и чувства работать безостановочно, на пределе, благодарна за

семена, из которых выросли ее Нина Заречная и леди Макбет, ее Маргарита Готье, ее Федра и даже ее тупые стервы из проходных спектаклей и сериалов...

Она была благодарна Лизе Феникс, которая нашла ей жилье и работу, когда старуха Суханова умерла и квартиру пришлось покинуть.

Лизу хорошо знали в общежитии театрального училища, где она подбирала девушек для своего стрип-клуба, одного из первых в Москве. Выбирала, разумеется, тех, кто пофактурнее, с грудью, ляжками и задницей. Посмотрев, как Элли работает у шеста, сказала:

– Ни сиськи, ни письки и жопа с кулачок. Но что-то в тебе есть. Можешь сделать то же самое, но раз в сто быстрее?

Элли попробовала – у нее чуть подошвы не задымились.

Рабочие сцены, осветители, музыканты, официанты – все засмеялись, заплодировали.

Через месяц в стрип-клуб «Феникс» стояла очередь из желающих посмотреть на Бешеную Элли, которая выделявала на сцене что-то невероятное.

Она не обращала внимания на вывихи, ушибы и растяжения – работала как проклятая, и трусы ее после выступления были набиты чаевыми.

Иногда она работала в паре с Молли, которая издали была похожа на нее как сестра-близняшка, но формы имела более впечатляющие. Фокус заключался в том, что двигались они в разном темпе, доводя зрителей до головокружения.

Лиза Феникс берегла свою звезду, щедро платила, ставила ее только на пятничные и субботние выступления, делала массаж, отдавая жаром своего огромного мускулистого тела, поселила у себя, кормила деликатесами, покупала ей французское мыло и ласкала с такой неистовостью, какой Элли никогда не встречала у мужчин. А главное – не донимала ревностью, если Элли после выступления уезжала с каким-нибудь мужчиной.

Мужчин было много, их становилось все больше.

Среди них были и те, кто предлагал руку и сердце.

Когда одному из них она отказала, он отхлебнул виски из красивого стакана и, указав сигарой на дверь, сказал, не повышая голоса, чуть шепелявя:

– Тогда пошла вон. Сейчас, немедленно.

Ей рассказывали, что он был из тех, кому перечить опасно. Смертельно опасно. Вот так же, не повышая голоса и чуть шепелявя, со стаканом виски в руке и сигарой в зубах, он приказал однажды выкрасть четырнадцатилетнюю дочь конкурента, изнасиловать и приковать цепью в шахте, где девочка три недели покрывалась язвами и исходила поносом, пока не умерла, а когда ему доложили об этом, только пожал плечами.

Скорее всего, это было вранье, но правда была не лучше.

Элли молча оделась и ушла.

В легкой куртке, мини-юбке, на шпильках она прошла семь километров по январскому морозу, пока не поймала

такси. Была ночь, таксист запросил «два счетчика», она согласилась, но когда пришло время расплачиваться, вдруг обнаружила, что денег в кошельке кот наплакал. Миллиардер ей не заплатил – ведь он вез к себе на дачу возлюбленную, будущую жену, а не проститутку.

Она отдала водителю все, что у нее было в кошельке.

– Ладно, – со вздохом сказал таксист, расстегивая брюки, – придется тебе поработать, подруга.

И этому таксисту она была благодарна за то, что не избил, а предложил честно поработать, и она честно поработала, хотя и не стала рассказывать об этом Лизе Феникс.

Она была бесконечно благодарна Лизе Феникс за то, что та познакомила ее с Донатасом Таркасом, Доном Тарком, как называли его в театральных кругах. Лиза подвела Элли к высокому мужчине, сидевшему за большим столом в окружении красивых мальчиков, Элли и Дон выпили за знакомство, он стал рассказывать о «Макбете», которого когда-то показал на Эдинбургском фестивале: двадцать пять голых актеров с ножами и дубинами в руках, сбившись в тесную толпу, пятнадцать минут молча били и резали друг дружку, а в финале из горы трупов выбирался Малькольм, весь окровавленный, и говорил: «Мы времени чрезмерно не потратим на то, чтобы со всеми рассчитаться за их любовь...»

– Мне казалось, – сказал Дон, – что я поставил вполне адекватный спектакль. Скажу без ложной скромности, я тогда был молод и невероятно глуп...

К тому времени Элли снялась в шести фильмах, сыграла в нескольких спектаклях, получила премию за главную роль в «Шиксе», купила квартиру на Чистых Прудах, вышла замуж, родила дочь, похоронила мужа, стала владелицей дома в Агуреево и довольно известной актрисой, но по-прежнему время от времени танцевала в «Фениксе», уступая просьбам Лизы и Молли. Она оставила фамилию мужа, и на афишах теперь ее представляли как Нору Крамер.

– Нора, – сказал Дон. – Нора Крамер. С таким именем Клитемнестру играть, а не в стрип-клубе отплясывать... хотя отплясываешь ты, конечно, дивно...

Дон только что получил «Золотую маску» за «Царя Эдипа», его постановки «Дома Бернарды Альбы», «Иванова» и «Реквиема по монахине» стали выдающимися событиями в русском театре, а на читках «Котлована» в его Лаборатории люди стояли у стен и сидели в проходах. В Москве и Питере его называли человеком театральной национальности и знали как веселого раздолбая, пьяницу и бабника, хотя некоторые утверждали, что он бисексуал. Но всем также было известно, что как только на Дона накатывало, он становился «несносным придурком» – мрачным, неразговорчивым и раздражительным. У него не было проходных постановок, и даже провалы его были интересными, как в случае с «Гамлетом». Спектакли его рождались долго, с трудом, иногда со скандалами. Критики упрекали его в том, что он подбирает исполнителей только «по любви», подчас не обращая внима-

ния на их профессиональные качества.

После встречи в «Фениксе» Дон и Нора стали жить вместе. Пока она пропадала на репетициях, он целыми днями бродил по городу, курил, дремал на скамейке в парке, потягивая из фляжки, перечитывал «Герцогиню Мальфи» и «Белого дьявола», а вечерами, если у Норы не было спектаклей, они устраивались на диване в гостиной и смотрели фильмы с Марией Казарес, Изабель Юппер, Анной Маньяни и Тильдой Суинтон.

Нора понимала, что и кровавый Уэбстер, и Мария Казарес выбраны не случайно, и когда Дон сказал наконец, что подумывает о постановке *настоящего* «Макбета», все встало на свои места: он искал леди Макбет. Ему нужна была не «крепкая жопа» вроде Жанетт Нолан, замечательная находка Орсона Уэллса, а «узкая сука».

– Боюсь я этого вашего Макбета, – сказал он, – и бабы его боюсь с ее немытыми руками, и всех этих дурацких пузырей земли, всего этого безвкусного нагромождения ужасов, убийств, призраков, всех этих одномерных людей, одержимых смертью...

– И не оглядывающихся даже на Бога, – подхватила Нора. – Живущих в мире, где Бога нет.

– Слово «бог», невзначай вылетевшее из твоего лядского ротика, – сказал Дон, – даже меня заставляет краснеть...

Поперхнувшись вином, разъяренная, рычащая, голая, с распущенными волосами, она отшвырнула бокал и погна-

лась за ним с бейсбольной битой – Дон едва успел юркнуть за дверь.

Это был первый их разговор о будущей постановке.

В те дни Нора завела тетрадь, в которой эскизно записывала их разговоры о «Макбете»: «Убийство – единственная тема трагедии... Атмосфера: готовность к убийству и ожидание смерти, ничего больше... Я – человек, ergo, я убиваю... Все живут здесь и сейчас, не задумываясь об оправдании, не оглядываясь ни на людей, ни на Бога... ни совести, ни чувства вины, ни любви, ни сострадания – ничего того, что сегодня считается человеческим...

У леди М. был ребенок или дети (акт I, сцена 7), она потеряла мужа и детей, у нее ничего не осталось, кроме жажды власти, желания восстановить если не гармонию, то хотя бы баланс, компенсировать властью потерю мужа и детей, в ее представлении это, видимо, и есть справедливость...

Макбет – орудие для достижения ее целей, но он же – единственный характер в развитии, единственный, кто колеблется и надеется... впрочем, его надежда на *endlosung*, на «решающее убийство», после которого наступят мир и благоденствие, не только ужасна, но и смехотворна...

Слепящий свет безумия, спасающий леди Макбет от этой жизни, единственный просвет в этой тьме...

Лишенная любви человеческой, леди Макбет полностью захвачена, одержима *высокой любовью к злу...*»

День за днем они читали пьесу, обсуждая каждый поворот

сюжета, каждую реплику, каждый вздох персонажей: ведьмы – пузыри земли... убийство Дункана, подброшенный кинжал, лица, вызолоченные кровью... убийство Банко и снова ведьмы, вызывающие духов... убийство жены и троих сыновей Макдуфа... леди Макбет, моющая руки... Бирнамский лес и Дунсинанский холм... «завтра, завтра, завтра»...

Поначалу, когда заходила речь об этой постановке, Дон говорил «я», но уже через два месяца в его речи все чаще стали возникать «мы»: «Мы ставим спектакль... мы должны понимать... мы не можем себе позволить...» Вскоре уже не мог видеть в этой роли никого, кроме Нору.

– Если сыграешь ее так же, как трахаешься, – сказал он как-то, – мы сделаем шедевр. Я не шучу: это ведь самая эротическая пьеса Шекспира, она вся пропитана вожделением, похотью... это такая кровавая «Камасутра», если угодно...

Он хотел выстроить актерский ансамбль вокруг леди Макбет, единственной активной женщины на сцене, и безжалостно гонял Нору, не давая ей спуска. Иногда он заставлял ее молчать в тех эпизодах, где по сюжету она должна была говорить, побуждая сыграть все смыслы эпизода лицом и телом, и это доводило Нору до дрожи и головной боли. Однажды она не выдержала, заперлась в туалете и разрыдалась. А потом вымыла руки, пытаясь делать это как леди Макбет, смывающая с рук кровь. Она сто раз пыталась смыть кровь с рук, проклиная Шекспира, Дона и леди Макбет. Вставала среди ночи и мыла руки. Однажды в общественном туалете

напугала женщин: она смотрела, как они моют руки, и истерически хохотала. Это случилось в ресторане, где они с Доном отмечали первую годовщину совместной жизни.

– Значит, пора, – сказал Дон, когда она рассказала ему о случае в туалете. – Пора звать Тарасика.

Тарасик был вечным мальчиком, белокурым, мягким, с девичьим лицом и уклончивым взглядом. Он не был ни актером, ни режиссером, ни критиком – он был «человеком театра», который всегда терся в театральных кругах, всегда, как говорят актеры, *подворовывал*, то есть держался в полутени, на полшага сзади и сбоку от главных действующих лиц, всегда был готов сбегать за водкой или за цветами, что-нибудь поднести, подать, налить, подставить плечо под угол гроба при выносе тела, влюбиться, разлюбить, завершить цитату, сделать массаж усталому актеру или всю ночь выслушивать жалобы расстроенной актрисы, и при этом нельзя было понять, улыбается он, плачет или злится. Он интересовался всем и всеми, знал все сплетни, помнил все имена, а вот им никто не интересовался, никто даже не был уверен, что Тарасик – его настоящее имя, никто знать не знал, на что он живет и вообще что собой, черт возьми, представляет. Но стоило только подумать о нем, стоило помянуть его в разговоре, как он бесшумно выходил на свет, оказывался рядом – с этой своей полуулыбкой на милом личике, в каком-нибудь модном жилете, с перстеньками на всех пальцах, готовый идти, бежать, лететь, ползти, карабкаться, пить, есть, плакать,

сострадать, лизать и подхватывать...

Встретив Дона, Тарасик влюбился – может быть, впервые в жизни и, похоже, по-настоящему. Он всюду сопровождал своего кумира, жил в его квартире чуть ли не в кладовке, хотя многие считали, что эта кладовка была на самом деле спальней, а когда в жизни Дона появилась Нора, разрыдался, в сердцах швырнул в него стакан и убежал. Впервые Тарасика видели расстроенным, даже разгневанным – он не мог поверить, что его променяли на эту безгрудую кривоногую стерву с непристойным ртом и мятежным взглядом.

Тарасик вызывал у Норы и брезгливость, и жалость, и раздражение, и желание прибить его тапком, как насекомое, но она вовсе не собиралась ссориться из-за него с Доном.

Дон привык на предпоследнем этапе подготовки к спектаклю советоваться с Тарасиком: этот мальчик знал все тонкости отношений между актерами и часами мог рассказывать об их тайных беременностях и неминуемых разводах, домашних склоках и болезненных пристрастиях, о любовных треугольниках и сексуальных предпочтениях, об их панкреатитах и трахеитах, неврозах и артрозах, а кроме того, обо всех ролях, которые они сыграли в кино или театре...

– Ты просто любишь сплетни, – сказала как-то Нора.

– Я должен собрать ансамбль, – возразил Дон, – команду, оркестр, банду. Я должен быть уверен, что они будут грабить и резать без колебаний, а не бросятся наутек в случае опасности.

Дон и Тарасик начали встречаться с продюсерами, актерами, художниками, музыкантами, и вскоре вся театральная Москва заговорила о новом проекте выдающегося режиссера, собирающего лучшие силы для постановки «Макбета». Известно было, что на роль Макбета Дон выбрал Ермилова, прославившегося в «Живом трупe». Все гадали, кто сыграет главную героиню, но имя исполнительницы Дон пока не называл. Поговаривали, что за декорации взялся сам Кропоткин, художник с мировым именем.

А вскоре начались репетиции, и их жизнь изменилась.

Уже через неделю квартира была завалена клочками бумаги, эскизами, разноцветным тряпьем, шпагами, латами, барабанами, знаменами, пустыми бутылками, пластиковыми стаканчиками и женскими трусиками. Дон репетировал сначала в театре, подбадривая себя коньяком, а потом вел всю актерскую ватагу к себе, и тут, в его квартире на Покровке, репетиция возобновлялась, чтобы к ночи превратиться в оргию. Утром Тарасика – а он под шумок поселился на Покровке – посылали за пивом, все опохмелялись, потом голый Дон гонялся с метлой за упившимся кавдорским таном, пытаясь выгнать его вон, потом все отсыпались, а вечером отправлялись на репетицию в театр, и все повторялось...

Однако месяца за два до генеральной репетиции жизнь изменилась снова. Никаких пьянок, никакого разгула, никаких женских трусиков на полу и блевотины по углам. Ермилов оказался прекрасным партнером – Нора наслаждалась

работой.

Однажды все перекосилось и чуть не рухнуло.

Нора поймала Тарасика с амфетамином, пригрозила полицией. Но мальчик не испугался.

– Я не вожу телег, не ем овса, – сказал он. – Делаю то, что в моих силах. – Подбросил в руке пакетик с таблетками. – Только так он выдерживает весь этот дурдом... говорит, что ему надо поддерживать тонус, и других способов знать не желает...

– Но ведь это не может долго продолжаться...

– Организм у него медвежий, да и дальше тремы пока не доходило...

– Тремы?

– Начальная форма бреда при шизофрении, – с улыбкой сказал Тарасик. – Я, кстати, врач по диплому. Психиатр.

– М-м... а потом?

– А потом больница, рехаб, мир и покой. До новой постановки. Так он устроен. Увы, дорогая Нора, to be thus is nothing, but to be safely thus...¹

Тем вечером она поймала насмешливый взгляд Тарасика, сидевшего рядом с Доном на диване, рука в руку, и поняла, что если она ничего не предпримет, Дон для нее будет потерян.

После генеральной репетиции она втолкнула Дона в ма-

¹ «Быть тем, кто ты есть, значит не быть никем, если не можешь быть им без опаски», «Макбет», III, 1 (англ.).

шину и отвезла в Агуреево, в свой загородный дом.

Всю дорогу она молчала, а Дон прикладывался к фляжке и болтал без умолку, говорил, что трагедия сейчас никому не нужна, потому что и в России, и в мире все больны, все слабы, а трагедии нужны только сильным и здоровым людям, но не нынешним сильным и здоровым людям, потому что они сегодня поголовно – качки и дебилы, такова уж эпоха, которая нам выпала, эпоха, не заслуживающая ни оплакивания, ни осмеяния...

– А зачем, собственно, мы сюда приехали? – спросил он, когда они раздевались в прихожей.

– Ты показал мне свою темную сторону, – сказала она, – теперь мой черед. – И распахнула двери в гостиную. – Ньюша, познакомься с моим другом.

Улыбка погасла на лице Дона, когда он увидел Ньюшу.

Девочка шла через гостиную, при каждом шаге резко заваливаясь на правый бок. Она смотрела на Дона, сдвинув брови на переносье. Лицо у нее было напряженным и мрачным.

– Донатас, – сказал он, протягивая руку. – Это литовское имя. Я родился в Паневежисе. Это маленький красивый городок в Литве... но я там давно не был...

– Почему? – спросила Ньюша, остановившись перед ним и будто не видя протянутой руки.

– А я вырос в России... в Новосибирске, потом в Москве... отец был военным, много ездили...

Девочка посмотрела на мать.

– А где Рита? – спросила Нора.

– У нее сегодня гости.

– Уже поздно, Нюша...

– Спокойной ночи, – сказала девочка. – Кивнула Дону. –

Тебе тоже, литовец.

Дон не мог отвести взгляда от ее спины, а когда дверь за девочкой закрылась, шумно перевел дыхание.

– Ей скоро десять, – сказала Нора. – Две неудачные операции. Из-за нее боюсь рожать второго...

– Красивая ведь девочка, – сказал Дон.

– Тем больше...

Дон промолчал.

– Растет злокой и сучкой, – сказала Нора. – Нет, я не схожу с ума от чувства вины, но не хочу ее потерять. Не могу. Ты – часть моей жизни, а она – моя жизнь. – Помолчала. – Ты мне очень дорог, но так уж получилось, что мне не приходится выбирать... а у тебя есть выбор...

Дон привлек ее к себе, обнял.

– Я попробую, – сказал он. – Попытаюсь.

В день премьеры она с утра пораньше уехала к Молли – хотелось одиночества.

Подруга по стрип-клубу дважды побывала замужем, оба мужа погибли в бандитских разборках, оставив вдове по квартире. Четырехкомнатную на Страстном Молли сдавала и жила на эти деньги с третьим мужем в Риеке, а вторую дер-

жала «для себя» – ей нравился вид из окон на Царицынский парк.

Приезжая в Москву, Молли обязательно звонила подруге. Они гуляли по парку, обедали где-нибудь в центре, заглядывали к Лизе Феникс, потом допоздна болтали на скамейке в парке, потягивая из фляжки.

Молли не отличалась ни вкусом, ни умом, часто сетовала на свою худобу: «Любовь любовью, а толстые сиськи всегда сверху», но была единственной задушевной подругой.

Нора купила булку и до обеда кормила уток в парке.

Было холодно, парк на другом берегу пруда был черным и золотым.

Плотно пообедав, она поспала, укрывшись одеялом с головой, потом выпила чаю и попыталась дозвониться до Дона – его телефон молчал. Что ж, они договорились явиться в театр порознь, волноваться было незачем.

В баре у Молли всегда был хороший выбор напитков. Нора наполнила маленькую фляжку испанским бренди, перекрестилась перед зеркалом, вызвала такси и отправилась в театр.

После всех одеваний-переодеваний, после того как Розочка превратила ее лицо в яркую маску, Нора осталась, наконец, одна. Глотнула бренди, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Скоро начнет заполняться зал, скоро заскрипят кресла, застучат каблуки, зашуршат платья, запахнет духами, скоро ударит первый звонок, все звуки болезненно уси-

лятся, кто-то непременно пробежит по коридору, шепотом чертыхаясь, где-то что-то упадет, второй звонок, пальцы на ее левой руке вдруг немеют, третий звонок, и вот первые звуки – тихий скрежет, постукивание, хруст, и вот вступает первая ведьма: «Когда нам вновь сойтись втроем в дождь, под молнию и гром?», и скоро выход Норы – она окажется лицом к лицу с тысячеглазым чудовищем, жадно внемлющим, жарко дышащим в мерцающей золотом полутьме и жаждущим ее крови...

Но на этот раз все было иначе. Сначала она услышала негромкие голоса за дверью, потом без стука вошел помреж Осинский, какой-то слишком большой, слишком бледный, и сказал, глядя на нее в зеркало, что Дон умер. Она повернулась к нему, и он, опустив глаза, повторил: «Умер». В ее грим-уборную вдруг набилось множество людей, и все говорили, кто-то шепотом, кто-то слишком громко, какая-то женщина плакала, все говорили и говорили – о Доне, лежащем сейчас на полу в своей гостиной на Покровке, раскинув руки, в окровавленной белой рубашке, две пули в грудь, Боже, две пули в грудь, да что ж это такое, все говорили о Тарасике, об исчезнувшем сукином сыне Тарасике, его ищут, но черта с два его найдешь, этого протеического мерзавца, этого безликого получеловека-полутень, этого *превращенца*...

– Превращенца?

Нора вдруг рассмеялась.

Осинский принес рюмку коньяку – Нора выпила залпом.

– Нет, – сказала она, – ничего отменять не будем. Играем!

И все вдруг замолчали, кто-то вышел, за ним остальные, и через минуту она осталась одна – перед зеркалом, лицом к лицу с незнакомой женщиной, узкой сукой, размалеванной, с тяжелым взглядом и сухим блеском в глазах. Ее позвали, и она бросилась к сцене, перевела дыхание, кивнула, взяла онемевшими пальцами письмо, вышла из-за кулисы, стала читать письмо вслух, не глядя по сторонам: «Они повстречались мне в день торжества; и я убедился достовернейшим образом, что они обладают большим, чем смертное знание...» А потом, дождавшись своей очереди, вскинула голову и, глядя в лицо Макбету, с улыбкой заговорила таким голосом, что даже у кавдорского тана мороз побежал по коже: «О, никогда над этим утром солнце не взойдет!..»

Она доиграла спектакль до конца, дождалась выхода на поклон, покивала, поулыбалась, потом вернулась в грим-уборную, попыталась запереться, но не смогла попасть ключом в замочную скважину и потеряла сознание, упав под дверь с ключом в судорожно сведенной руке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.